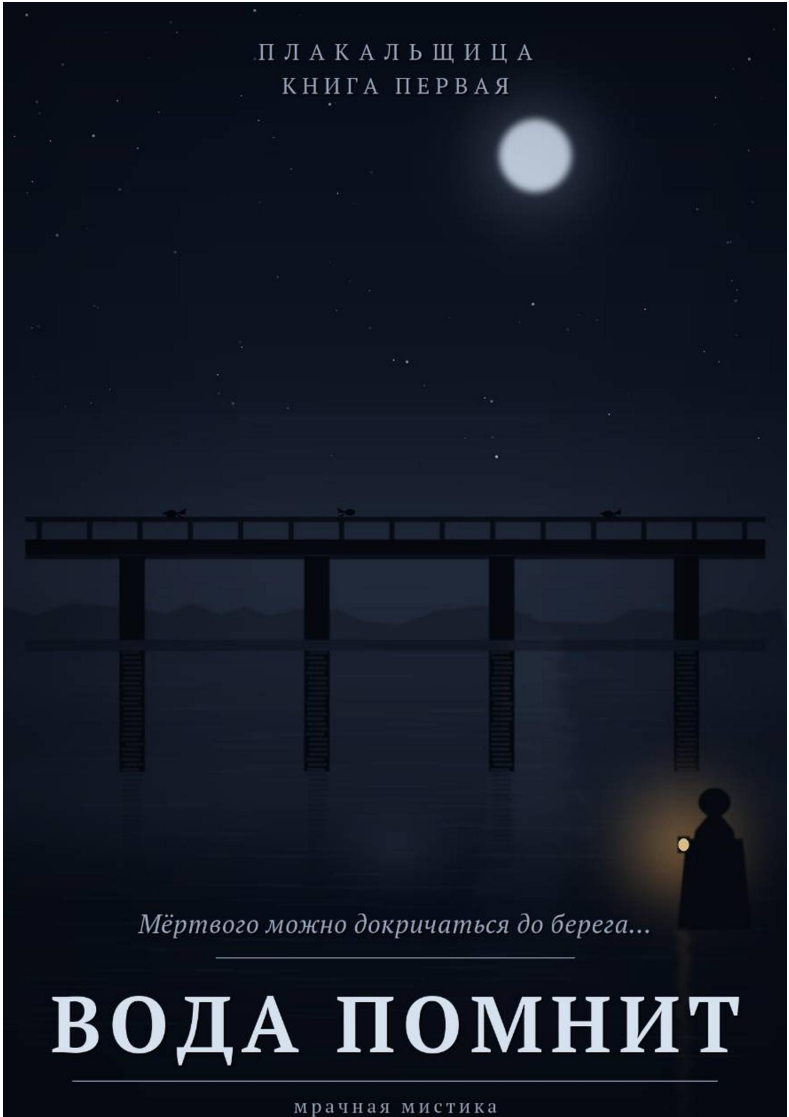

ПЛАКАЛЬЩИЦА
КНИГА ПЕРВАЯ
Мёртвого можно докричаться до берега...
ВОДА ПОМНИТ
мрачная мистика

Hievir Hievir

Вода помнит — Серия «Плакальщица

https://litres.ru/74718979
SelfPub; 2026

Аннотация

Мёртвых в Крутовражье доводят до берега плачем. Но к пристани прибило утопленника, которого не знает никто: вода из него не кончается, и ни один плач не находит привязи. Теперь мёртвый сам причитает о живой — о плакальщице Настке. А городу, закрывшему сорока дворами чужое имя, тридцать три года удавалось не помнить. До этой воды.

Содержание

Глава первая. Довести 4
Глава вторая. Безымянный 9
Глава третья. Голос не нашёл 14
Глава четвёртая. Блюдцы 18
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Hievir
Вода помнит —
Серия «Плакальщица

Глава первая. Довести

Нас, плакальщиц, в Крутовражье всегда держали троих: бабка, мать и я. Мать ушла первой, а за ней, через шесть дней, ушёл и братишка — ему от роду было пять дней. Бабка тогда сказала только одно: «Не я их позвала. Я голос положила не туда, вот вода и забрала». И больше об этом не говорила никогда.

С тех пор нас оставалось двое, и бабка твердила одно и то же, как гвоздь в столб:

— Плакальщица, оставшаяся совсем одна, рано или поздно начинает плакать о живых. Потому нас и держат по трое. Потому и ты, Настка, научишься раньше, чем я своё услужу.

Мне шёл девятнадцатый год, когда я впервые докричалась сама — до конца, до той черты, за которой мёртвый берётся за берег. Случилось это в октябре, над Пелагеей-скорняжкой, и с этого, как я теперь понимаю, всё и началось.

Бабка учила меня голосу с семи лет, и учила не пению — пения в нашем ремесле меньше, чем в лае собаки. Она учила

вожжам.

— Голос — это лодка, Настка. Мёртвый ходит по-над нами, как лодка без кормщика: не тонет и не плывёт, кружит на одном месте, потому что нет ему за что взяться. Довать его — значит довести до берега. А доводишь ты не слезами и не словом, а привязью. У всякого есть, чем он держится за нашу сторону. Недошитая шуба. Невзятая со скалы мелочь. Недосказанное слово. Собака, что ждёт у ворот. Найди привязь — и плачь в неё, как в вожжи, пока не почувствуешь рывок.

Правил она дала мне четыре, и все четыре она называла не правилами, а уговорами, будто мы с мёртвыми сговорились, как соседки с соседом, о воде и огороде.

Первый уговор: о живом не плачут вовсе. Привяжешь — и привязанный начнёт сохнуть, весь уйдёт в твой голос, как вода в песок.

Второй: об одном не плачут дважды. Второй плач звучит уже не для него, а для тебя.

Третий: плачь при открытых дверях. Закроешь — мёртвый запомнит путь и придёт сам, без спроса.

Четвёртый она учила меня последним и, кажется, сама не знала, зачем он: «Не назови в плаче имени — не отпустишь». Я спрашивала, как это — не назову, когда весь город знает, кого хоронят. Бабка пожала плечами: «Нынешних — знает. А бывают, которых никто не знает. С теми не зевай».

Пелагея-скорняжка умерла ночью, у окна, не раздевшись,

— села в ночь глядеть, на дороге ли кто, и осталась сидеть. Утром дочь её, Акулина, прибежала к нам ещё с росой и стояла в горнице, не сходя с порога: у нас порог для заказчицы — граница, дальше плакальщица ходит сама.

Я вошла, раскрыла задавленную раму — третий уговор, — обошла Пелагею кругом и стала искать привязь. Она лежала на лавке у окна, вся седая от овечьего пуха, и рядом с ней была шуба. Новая, овчина, к Покрову сшить собиралась — дочкина, первого пригуба. Покров прошёл, шуба осталась недошитой: правый рукав лежал отдельно, игла в нём торчала, нитка мутно-лиловая, вощёная.

— Иглу не тронь, — шепнула Акулина из-за порога. — Матушка велела ни в коем случае, сказала — докончить нельзя, докончу — помрёт тот, кто носить станет.

Я и не тронула. Я взяла шубу на колени вместе с иглой, посадила руку в недошитый рукав — он был просторный, тёплый ещё, с живым запахом овчины — и запустила голос в игольное ушко. Так нас учили: привязь должна быть мала. В малое мёртвый входит весь, как в дверную щель входит холод.

Причет я повела дальний, старинный, какой у нас причитывают «по зряшной», когда умирает женщина при недоделке:

Ой, да не над торговым ты мостом,
Не над быстрою Студёной-рекой
Ты плыви, моя белая лодка, —

Плыви мимо девяти пристаней,
Мимо криц, мимо свай, мимо крика,
Плыви прямо к заре-отгоранию,
К тем воротам, где страж не спросит,
Где гвоздя не найдётся в затворе…

Досказала — и почувствовала рывок. Бабка учила меня не спутать его ни с чем: он приходит в грудь, как рывок упряжки, когда лошадь взялась за воз. Я перестала причитать — второй уговор, не плачут дважды, — и села молча. В избе стало слышно реку, хотя до реки было три улицы. Свеча на столе горела ровно, а тень её кланялась дважды, туда и обратно, как кланяются при проводине.

Пелагеино лицо разгладилось. Не «стало покойнее» — разгладилось, как разглаживается вода после того, как вынули камень. Из-под лба ушёл холод, и шуба на моих коленях стала вдруг лёгкой — того же веса, как шуба с иглой, а не шуба с человеком в ней.

На моём плече остался след ладони. Холодный, стёганый, как рукавица. Я не вздрогнула — нас учат не вздрагивать, вздрагивающих вода не любит, — но я знаю, чем меня проводили: тем же, чем мать когда-то меня пеленала.

Плату с Акулины взяли по горсти: горсть мелочи на камень и горсть ржи — рожь я по обычаю вынесла на реку и рассыпала с мостков, кто-то снизу её взял, вода закрылась тремя кругами, четвёртого не было. Хорошая проводина, чистая. Обычная.

А после полудня прибежал Лёвка, сирота с девятой пристани, и весь не мог отдышаться:

— Настка… Тебя… С воды тебя зовут. Утопленник приволокся к сваям, а рыбаки говорят… — он сглотнул. — Говорят, вода его вынесла против течения. Против! И он не тонет. Он лежит у свай и не тонет, и вода из него течёт, и не кончается.

Бабка в углу поднимала голову медленно. Слепые не вскрикивают — у них вся осторожность внутри.

— Спроси его имя, — сказала она. — Спроси имя у того, кто звал.

— Да никто же не знает! — азартно вскричал Лёвка. — Никто его вовсе не знает! Ни на одной пристани не знают!

Бабка молчала долго. Потом произнесла слово, которое я тогда ещё не поняла, а понять его пришлось мне всей оставшейся жизнью:

— Безымянный.

— Ну так что, приду? — спросила я.

— Придёшь, — сказала бабка. — Ты наша. Но помни, Настка: безымянный — не мёртвый. Безымянный — должник. А должника не хоронят.

Она помолчала и добавила — уже не мне, уже как бы в стену, куда ей было удобнее смотреть:

— Должника доигрывают.

Глава вторая. Безымянный

Покойницкая при девятой пристани — старый бревенчатый амбар, куда ставят невостребованных: безродных, бездомных, тех, кого никто не выкупает на зиму до весенней земли. В обычные годы он пуст, потому что в Крутовражье даже безродных хоронят миром — у нас считают, что дорога в землю дешевле, чем открытая дверь в амбаре.

Тело лежало на снятой с петель двери, под которой стелили мешковину. Мешковина была мокрая — вся, до края.

Он лежал на спине, и я, войдя, обомлела не от смерти — от её отсутствия. Утопленники приходят к нам чёрными, оплывшими, с глянцем, похожие на варёное. А у этого было лицо человека, умершего вчера: сорока лет примерно, скуластое, спокойное, тёмное от щетины, и глаза — вскрытые, не закоченевшие, смотревшие прямо в потолочную жердь с таким вниманием, будто он вёл счёт её сучкам.

Изо рта его, тонко, как из трещины в кувшине, шла вода. Она струилась всё время, понемногу, и не иссякала. Под дверь стояли ушаты: Тит, банщик, омывающий нас всех от рождения до смерти, сказал, что вылил их уже пять, и вода всё идёт.

— И она не речная, — сказал Тит и сплюнул в угол, сплюнуть ему было легче, чем договорить. — Речная-то какая? Мутная, зелёная, душком берёт. А из него — пресная, чи-

стая, как из колодезного ведра. Я аж пробовал на язык. Пресная. И пахнет… — он замялся. — Пахнет моей баней. Из него пахнет моей баней, Настасья Твердова, ты мне веришь или нет?

Я поверила. Я знала Тита сорок лет своих и девятнадцать его — он не выдумывал про воду.

Рубаха на нём была холщовая, рабочая, рукава засмолены у кистей — так перетягивают рукава плотники да мостоставы, чтобы смолой не ссадить кожу. Меж пальцев — тёмные перевясла, смолёный лён. Ладони — вся ладонная жизнь: сбитые, гребные, с мозолями, какие бывают от топора и от криц, а не от уключины.

— Стежок-то смотри, — сказал Тит. — Не наш стежок. У нас шьют в четыре нити, прямо, городская школа. А тут — в три, наискось, стежок косой, как в нижних городах шьют. Он не местный. Он из-за воды был, из нижних.

Имя его не знал никто. Я не преувеличиваю: после того как приволокся утопленник, обошли все девять пристаней, и старосты, и дьячок, и мироеды, и банные, и рыбаки, что ходят от моста до мельницы, — никто, никто, никто. Не пропадал в Крутовражье такой. Не бывал.

Лыков, старшина, пришёл к вечеру. Гурий Прохорович Лыков — главный человек в городе, с амбарами по всей Студёной, с горбатым носом и тихим голосом. Он посмотрел на тело сверху вниз, минуту, не дольше.

— Безымянная графа, — сказал он. — Похороны за счёт

города, за заплечья. И — на быстрое место, без задержек.

— За заплечья нельзя, — сказала я.

Я была девка девятнадцати лет, и я ему возразила. В груди у меня в этот момент было холодно и пусто, как в покойницкой, — но бабкины уговоры держали меня, как держит ремень.

— Почему нельзя? — спросил Лыков не резко, а устало, как спрашивают у погоды.

— Без имени не уходит, — сказала я. — Где похоронишь без имени, там и останется ходить. В поле похоронишь — по полю будет ходить. У дороги — по дороге. У быка похоронишь — под мостом ходить будет, старшина. Вам это надо — под мостом?

Лыков смотрел на меня так, как смотрят, когда внутри считают. Потом кивнул Титу:

— Оставь до завтра.

И ушёл, и в дверях, уже на пороге, обернулся и сказал — не мне, Титу, но так, что слышно было всем:

— Свинец у него в волосах откуда? Видите сами.

И правда. Я раньше не разглядела, а Тит, омывавший его трижды, показал: в тёмных волосах, у самого затылка, сидела мелкая свинцовая стружка, серебристая, блестящая, как рыбья чешуя. Свинцовая стружка — у человека, которого тонули воды Студёной? В Студёной свинца отродясь не бывало.

И на груди, под ребром, я нашла то, чего не нашёл никто, потому что искать надо было глазами плакальщицы, а нас

ищут только после: четыре квадратные вмятины. Небольшие, ровные, как пробой от печати, — по одной под каждым ребром.

Такими метят свинец. Крица, гвоздь, пластина — свинец у нас метят квадратным клеймом, чтобы на весах не спорили. Этих клейм на теле было четыре — и тело носило их, как носят шрамы от ожога: своим, давно зажившим.

Вечером я пришла к бабке, и бабка, не дожидаясь моего рассказа, спросила одну вещь:

— Свинец видел?

— Стружка в волосах. И клейма на груди, бабушка. Четыре.

Бабка повернула лицо в угол, к иконе, от которой давно остались одни потемневшие доски, и сказала:

— Нынче по ночам не запирай дверей, Настка. И покойницкую не запирай. И своё сердце не запирай — вот что труднее всего.

— Бабушка, чей он?

— А ты у него спроси, — сказала бабка. — Спроси — и услышишь, что ответит.

— Он молчит. Тит говорит — молчит.

— Он не молчит, — сказала бабка. — Он ждёт. Есть разница, и большая. Мёртвый, который молчит, — кончен. А который ждёт — тот ещё не всё отдал. И придёт время, Настка, когда он своё отдаст, и город наш узнает, что у нас не покойницкая под девятой пристанью, а амбар. Не амбар, а

хранилище.

— Чего хранилище?

Бабка протянула руку и нашла мою — слепые находят руку не глядя, они держат её, как держат вожжи.

— Имя, — сказала она. — Они хранят имя. Не тело, Настка. Тело — это свинья, тело — это кожица. Хранят они то, что у человека одно на всю жизнь и потом: имя.

И добавила, тихо, в ту же стену:

— А имя, которое закрыли, — оно не мёртвое. Оно закрытое. Разница, Настка, такая же, как между водой и колодцем.

Глава третья. Голос не нашёл

Плач по безымянному назначили на третий день, к вечеру, потому что утопленнику положено плакать до заката, при живом небе, а не при мёртвых звёздах.

Двери покойницкой раскрыли настежь — третий уговор. Лёвка и ещё двое с девятой пристани жгли у входа костёр из сырых свайных обрезков: дым от такого лежит низко, стелется по порогу, и старики говорят, что через этот дым мёртвый идёт, как через мост, а живой боится его ступить.

Я встала в изголовье. Тело лежало на двери, вода изо рта — тонко, тонко, — костёр дышал в проём, река за спиной дышала туда же, и два дыхания встретились в амбаре, и стало холодно так, что у меня свело челюсть.

— Начинай, — сказал Тит.

— Не начинай, — сказал отец Герасим, поп, пришедший зачем-то из своей пьяной церкви с кадилом, в котором плавился единственный огарок. — Начинай, да благословит Господь.

Поп у нас был скользкий — то ли выпивший, то ли просто сгоревший изнутри, как фитиль, — но слово «Господь» он произносил всегда так, будто лично должен ему денег и надеется, что Господь забыл.

Я запустила голос. Куда? — спросите вы. А я отвечу: в привязь. Привязь у всякого есть. Я искала её, как ищут ключ

в тёмной воде: медленно, глубоко, с закрытыми глазами, щупая дно пальцами.

Ой, да кто ты таков, моя ладная,
Да чья ты в воде была, в студёной?
Да чья рука тебя вниз проводила,
Да чья душа за тебя молит?

Голос ушёл в него — и не нашёл. Я тянула, как тянут невод с перегнившей мотни: пусто. Пусто. Пусто.

За три поколения наших в Крутовражье этого не было. Голос всегда находил привязь — в шубе, в игле, в недопитом чае, в горе хлеба, в собачьей цепи. Привязь — она как зацепка: есть за что взяться — и докричишься. А у этого не было ничего. Не было дна. Я плакала в тело, как в песок, и песок пил мой голос и не насыщался.

Через час горла, я вышла на середину и уже почти кричала — не причитывала, а кричала, что запрещено нам всей нашей породой, — и вот тут случилось то, о чём мне потом рассказывали на берегу, потому что сама я этого не видела.

По реке начало откликаться. Эхо. Только эхо было не моё — моё слово уплывало вниз по течению, а навстречу, из-под моста, из-под быка, шло другое слово: перекошенное, глухое, как если бы кто-то учился говорить по моему примеру, повторяя слоги с опозданием на удар. Люди на берегу перепугались и встали на колени, Тит плакал, Лёвка держал костёр, отец Герасим кадилом чертил в воздухе кресты, которые никто не заказывал.

А в амбаре мёртвый — повернул голову.

Не ко мне. Он повернул голову к реке.

И, наверное, я должна была бы умереть от ужаса, но я вместо этого сделала то, чему меня учили с детства: я стала смотреть ему в глаза и искать, на что он смотрит. Он смотрел на воду, стёкшую изо рта в ушат. Он смотрел на неё с той силой, с какой живой смотрит на единственное, что у него осталось.

И я поняла — не головой, а тем местом, где у нас сидит голос: его привязь есть. Его привязь — вода. Но вода в нём — не речная. Это вода из него самого: та, что его носила в себе, пока он был закрыт.

Я перестала кричать. Я тихо сказала — не ему, в сторону, как говорят при неживых:

— Тебя держит не тело. Тебя держит то, что из тебя не выпустили. Кто тебя закрыл — того и ищешь, да не найдёшь, пока не скажут имени.

И — я клянусь — вода изо рта его на одно дыхание перестала течь. На одно. Потом — как шла, так и пошла.

* * *

После той ночи Тит пришёл ко мне во двор с лицом цвета свинца.

— Настка, у меня в ушах вода, — сказал он. — Наливаю в ушат — а утром вода мутная и пахнет моей баней. Изнутри пахнет. Что мне делать, девка?

— Дай ей выйти, — сказала я. — Открой ушат в ночь, поставь к реке, пусть течёт, куда хочет.

— А если она в меня течёт, а не в ушат?

Я не ответила. Что я могла ответить? Нас учат отвечать на вопросы живых, а не на вопросы, которые живые задают сами себе, глядя в воду.

А к утру в покойницкой случилось то, о чём город говорил месяц. Вода из безымянного за ночь — за одну ночь — наполнила два ушата, и не остановилась, и, пробив мешковину, вышла на пол. К рассвету в амбаре стояла вода ровно на ладонь. Пресная, чистая, без запаха.

Лёд в тот год на Студёную встал поздний, а вода в покойницкой, стоявшая в ноябре на полу, — не замёрзла никогда.

Глава четвёртая. Блюдцы

У нас в Крутовражье кроме старшины есть совет, и зовут его не думой и не сходом, а «блюдцами». Блюдцы города блюдут — старшие из купцов и домовитых, человек пять, собираются в доме Лыковых у печи с зелёными изразцами, на которых нарисованы сцены ада — не для страха, а для красоты, потому что изразцовое дьявольское у наших мастеров весёлое, как ярмарка.

Меня туда позвали на четвёртый день. Меня — девку-плакальщицу — позвали на совет, и это было само по себе знамение, потому что плакальщиц к блюдцам не зовут. Нас зовут, когда мёртвый уже есть. А тут мёртвый был, но блюдцы звали меня не плакать. Они звали меня послушать, что они решат.

Сидели: Лыков Гурий Прохорович; Софрон, книжник, сухой, с чернильными пальцами; Демид-хлебник, с руками, похожими на лопаты теста; отец Герасим; и ещё двое, стариков, чьи имена я знала, а лица — нет, потому что стариков у нас не рассматривают, их уважают на слух.

Лыков говорил тихо, как всегда, и говорил он со мной, а не обо мне:

— Настасья Твердова. Город тебе за работу платит. А советом тебе скажет вот что: тело надо убрать. Не похоронить — убрать. Есть разница. Камень на шею — и в быстрину,

под бык, и дело с концом.

— Не уйдёт, — сказала я.

— Это как?

— Не уйдёт, — повторила я. — Вы утопить можете тело. А утопленник — приплывёт. Он уже приплывал, старшина, против течения. Вы думаете, вода сама его несла? Вода никого не носит против течения. Носит тот, кто в воде лежит. Вода — это дорога, а не лодка.

Демид-хлебник засмеялся — коротко, брезгливо. Отец Герасим поднял кадило и положил его на стол, и кадило было холодное.

— А как же, — спросил он, — по-твоему, надо? Плачь не берёт, имя неизвестно, хоронить нельзя, топить нельзя, сжигать... — он осёкся, и по его сгоревшему лицу прошло что-то, похожее на страх. — Сжигать нельзя, да?

— Сжигать нельзя, — сказала я. — Сожжёшь — привяжешь огонь. Он огонь и понесёт. Вы весь город дотла сожжёте — а он будет ходить в пожаре, как в своей рубахе.

— Откуда ты это знаешь, девка? — тихо спросил Лыков.

— От бабушки, — сказала я. — А она от своих учителей. У нас ремесло старше города.

Блюдцы молчали. Потом один из стариков, тот, что сидел в дальнем углу и до этого ни разу не подал голоса, сказал — очень тихо, но так, что все услышали:

— Что ж, Устиньина внучка. А спроси-ка у бабки своей про закрытые имена.

И по столу прошёл шум — не стук, не крик, а именно шум, как проходит вода под льдом. Лыков поднял руку, и шум лёг.

— Того слова нет, — сказал Лыков старику. — Его вообще нет.

— Верно, — согласился старик. — Нет слова. Нет и меня. — И он встал, поклонился всем в пояс, как кланяются на проводинах, и вышел.

Домой я шла через мост. Через Купеческий мост, единственный и гордый, построенный тридцать три года назад одним мостоставом, о котором теперь никто не помнил ничего, кроме того, что мост этот давал городу хлеб: через него шла ярмарка, дорога на восток, соль, рыба и овчина. Мост стоял на четырёх быках, был широк, крепок, нов, и в том году город красил его в третий раз.

У середины моста я остановилась. Так делала всегда: в середине моста у нас никого не отпускали одного — не примета, а правило, у моста на течении кружит голова. Мост держался, река под ним шла ровно, чёрная, рабочая, несла последние осенние листья вниз по течению.

А навстречу течению по поверхности шла к городу одна ветка.

Только одна. Она шла прямо, не кружа, — против воды, и вода её не мяла и не крутила. Ветка дошла до тени моста и исчезла под ней.

Я не стала смотреть, выплыла ли она с другой стороны. Я

не стала смотреть вообще. Я пошла домой и вошла в горницу, где бабка сидела у остывшей печи, и села рядом, и молчала, пока не молчалось больше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.